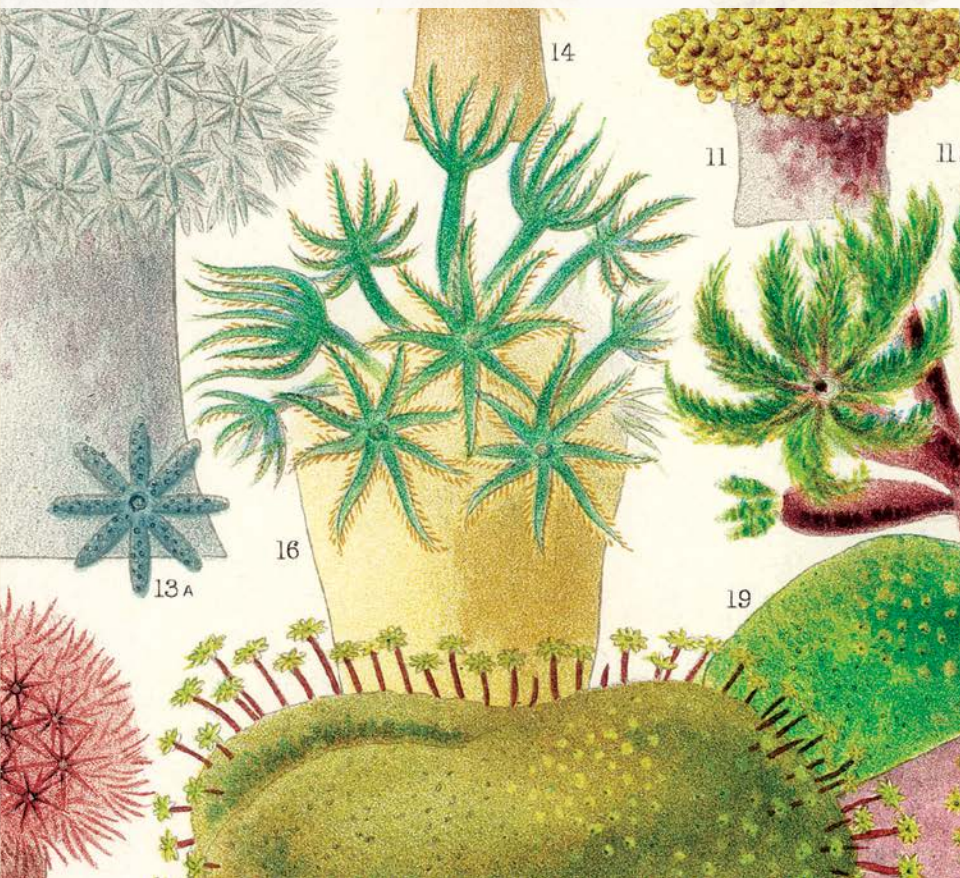




ЕЛЕНА ТОЛСТАЯ

ФАУНА И ФЛОРА





Елена Толстая

ФАУНА И ФЛОРА

рассказы и очерки

Редактор Юрий Вайс

БОСТОН • 2024 • BOSTON

ЕЛЕНА ТОЛСТАЯ

Фауна и флора. *Рассказы и очерки*

Редактор Юрий Вайс

HELEN TOLSTOY

Fauna and flora. *Short Stories and Essays*

Edited by Yuri Weiss

Copyright © 2022–2024 by Elena Tolstaya

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1960533289

Дизайн обложки © Галины Блейх / Cover © Galina Bleych

На обложке: иллюстрация из книги Уильяма Сэвилла-Кента
«The Great Barrier Reef of Australia» (1893)

PUBLISHED BY M•GRAPHICS | BOSTON, MA

 mgraphics.books@gmail.com

 www.mgraphics-books.com

Printed in the United States of America

ОТ АВТОРА

В 2022 году у меня вышла книжка прозы, и пока она проходила редактуру, пока делали обложку, я, чтобы отвлечься от всей этой нервотрепки, начала писать рассказ — такой, как будто бы его написала одна из моих любимых писательниц-англичанок: и тебе любовь, и загадка, и все на фоне какого-нибудь университета, и обязательно с привидениями. Потом вдруг втемяшилось: а что если бы лермонтовский герой был немец, как бы он тогда рассказал известную всем историю? К этим двум рассказам подобрался рассказ поменьше, пьеса совсем крошка, еще что-то...

Также оказалось, что первая моя книжка прозы под названием «Западно-восточный диван-кровать» (У Гёте — диван, у меня — диван-кровать; а западно-восточный — потому что там немножко о Питере, немножко о Иерусалиме) давно тихо разошлась, и есть смысл ее переиздать вместе с новыми текстами. Поэтому в настоящем издании две части: в первую вошли произведения, написанные в 2022–2023 годах, а вторая — с некоторыми сокращениями и авторскими изменениями воспроизводит «Западно-восточный диван-кровать».

Книга рассчитана на широкого гуманитария и не только; желательно с чувством юмора, но необязательно; а также на учащихся высших, средних и всяких других учебных заведений.

СОДЕРЖАНИЕ

ФАУНА И ФЛОРА

Моя жизнь с Марсом	11
Моноглоты	15
Ласточки пропали	19
Монументальное.	26
Ахт унд ахцихь профессорен.	30
Мартын Мартынович	49
Трое	70
Фауна и флора	73

ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВАН-КРОВАТЬ

С веселым другом Вар-Раваном.	119
Иерусалимский артишокинг.	127
Кровавый выкуп ключа	133
Повести Белкинда	156
Под развесистым кидроном	166
Западно-восточный диван-кровать	172
Четыре этюда о дамском спорте	176
Выть на Волгу.	201
Город Петров	205

ФАУНА И ФЛОРА

МОЯ ЖИЗНЬ С МАРСОМ

Поначалу с Марса шли бежевые аэрофотоснимки. Неотмирные картинки и такая же музыка помогали расслабиться. Например, оком, похожий на торт со взбесившимся кремом. Или вертикальные завалы вопреки всем законам тяготения. Запомнились какие-то овраги, нет, иверни, иверни, самое подходящее слово: ведь никто не знает, что такое иверни. Эрозия чего-то там (не почвы, почвы нет), когда эти там свеи и завои расползаются повсюду узором, вроде как из гусениц, а края у этих гусениц все мелкими зигзагами. Мне больше всего понравились пухленькие холмики слегка похабного вида, ровно пополам прошитые бороздкой, а из нее торчит какая-то ни дать ни взять поросль, то ли камышинки примерно одной высоты, то ли палки какие (масштаб не ясен), но торчит как нечто растительное. Причем понятно, что все давно окаменело, окаменеешь тут. За три-то миллиарда лет. Ну, все и так знают про сидящую женщину с ручкой и джедайчика с двумя ручками, оба в вихре контрапосто. Не говоря уж про Лицо.

Тут запустили машинку ползучую, потом машинку летучую с длинными названиями, и началась новая эпоха. Потому что НАСА, это, конечно, круто, только непонятно почему, как только вдали замаячит что-то интересненькое, что тебе «Ухищренность», что тебе «Упрямистость», обе сразу объектив прочь воротят, надо думать — под тем соусом, что «Общество еще не готово».

Образовавшуюся лакуну тут же заполнили веселые мудозвоны, окопавшиеся на чудных фей-

ковых сайтах. Тут пошла настоящая жизнь. Пока я научилась отличать их от НАСЫ, прошло две или три недели — и это были недели чистейшего счастья. Вот марсианское небо, а в нем летает черная тряпка. И не просто, а гордо реет. Вот опять же из марсианского неба выглядывает сферический опаловый бочок какой-то неопознанной фигни. Вот глыба, а по ней стекает потоками опять же черная тряпка, но уже жидкая. Вот вечерний пейзаж с жанром: глыба с черными дырками, в каждой дырке по паре электрических глазок. Конечно, все мы росли на «Звездных войнах», и я тоже хорошо помню стаи черных мелкоформатных разбойничков с такими же вот глазками из-под капюшонов, а больше ничего не видно, минимализм.

Дальше качество видеопродукции все повышалось. Глядь, из дырки беспомощно свисает вялый белесый знак. Сперва беспомощно свис и в такой уже форме окаменел. А тут в расщелине целая морская звезда, вау! Следующая неделя была посвящена круглым донцам, а то и останкам чаш, в том числе тазика, на этой волне показали и какой-то металлолом в виде параллелепипеда. Выкатили даже старую игрушечную тележку, я считаю — перебор. Какой-то любитель Хармса наводнил Марс идеальной формы шарами. Ложь их обратно! Весь этот хлам дольше недели-двух у них на сайтах не залеживался, исчезал.

Тут тематика пошла ветвиться. Одни забавники сосредоточились на зверюшках. Конечно, все строго в черном, иначе пришлось бы заморачиваться со светотенью. Мне понравилась моща черной вроде собачки, может, собакозавра, в профиль: отросток потолще справа — это голова, отросток потоньше слева — это хвостик, ноги задние и передние попарно скромно сближены внизу. Другие увлеклись водой. Напустили в марсианские сухие озера немного воды и даже пу-

стили по ней рябь. Третьи тренировались на смерчах. Подумаешь, смерч! Но ты его размножь и пусти три штуки параллельных с тем же наклоном на равных расстояниях и в одном направлении, потом останови, пусть потанцуют, а потом рванут обратно. Причем днем это пылевые столбы, а ночью пусть это будет такой же десант веселых огненных столпиков.

Самые отвязные фотожабники запустили поверх Марса очень убедительную мышку, под цвет среды, совершенно как живую, а вслед за ней змею — вот вам и пищевая цепочка. Правда, змея у них напоминала скорее какашку, уложенную правильной спиралью. Затем случилось нашествие динозавров! Скала в виде обмылка динозавра, тут же сам этот динозавр в виде скелета, как в провинциальном музее Ленина детский скелетик вождя.

А мои самые любимые жабники начали подпускать античный колорит. Сперва нашли римский доспех со шлемом, но голову плохо было видно. Потом подготовились как следует и опубликовали находку на Марсе статуи античного бога. Фанфары! Громче! Бог притулился к подножию какой-то выветрившейся на фиг скалы. На каком этапе выветривания это произошло — неясно. Да и кого волнует хронология! Бог металлический, коричневый под бронзу, раскинувшийся во все стороны в стиле то ли совсем позднего барокко (ну, римские фонтаны), то ли самого памятника Витторио Эммануэле. Короткий прямой нос, лицо сделали чересчур широкое: похоже, имели в виду египтянина, а вышел по типу лица йеменит. И плечо отъехало налево на лишние полключицы. Где-то я такие травмы видела: ах да, в художественной школе за такое полагалась по рисунку двойка.

Ну зачем, скажите, зачем эти дурацкие претензии к художникам мечты? Скажем товарищам большое человеческое спасибо за то, что в тяжелую

годину... и т.д... жить стало... хоть немножко, хоть чуточку!

Вот и сегодня НАСА обнаружила зеленых солнечных зайчиков. Которые могут быть, понятное дело, рефракцией линзы... А могут и не быть. И завтра, кто знает, кого еще найдут... Кто там у вас намечается еще зелененький? Ау! Сын неба? Отзовись!

МОНОГЛОТЫ

Сколько помню себя, всегда радовало чужеродное слово. Кажется, и другие вокруг чувствовали то же. Нянька, чтоб нам, детям, непонятнее было, изображала недругов, говорящих вроде как по-французски: «ну конечно, жолё колё молё болё», так выражая заочное свое недовольство снобкой-бабушкой, переходившей в некоторых случаях на французский, — но не с мамой, французского не знавшей, а с папой, хотя у него он был еле-еле: оба они в Консерватории учили немецкий. Вкус к чужому словцу был и у домработницы, она любила разыгрывать сценку ««Дярёвня» потчует гостей»: «Ах вы, гости мои, гости, да поелозьте!» «То и дело надвигаем, намулындалися!» В подтверждение чему изображался мощный рефлюкс. Интересно, где это такое показывали? Когда — понятно, в ихнюю брачную пору, где-то в районе Первой мировой. В Народном доме графини Паниной, затем кино «Великан», сейчас не знаю. Но все равно — даже для графини Паниной уж больно вульгарно.

А так вся наша квартира обходилась без иностранных языков. Но заносило иногда гостей. Одна тетка, изысканно худая, с тревожно-костистым длинным лицом, приходила с «Юманите» подмышкой. Чудом казались непонятные буквы, и вообще дышало нездешностью. Казалось бы, ну вот и учи французский. Но нас почему-то решили учить немецкому. Наверно, просто под руку подвернулась преподавательница с немецкой группой, не в очаг (так раньше назывался детский сад) же детей посылать, чтобы их там заразили. Немецкий оказался несложным

и каким-то неинтересным, ничего особенного так и не выучилось:

Айн, цвай, драй, фир,
Пионире хайсен вир,
Фюнф, зекс, зибен, ахт,
Алле штеен ауф дер вахт.

Кстати, тогда постоянно на чем-то стояли, то вот на вахте, а то и странным образом — почему-то на имени: «Потому что мы стали на имя!» Стали и при этом идем. И, понятное дело, с пути не свернем. Никто нас в нашем невинном заблуждении не разубеждал.

По-немецки, между прочим, понимала домработница — после четырех-то лет в Германии. Она была «цивильно-пленная», ее из Усть-Луги угнали в город Нюрнберг, где она шила шинели, и обращались с ней, между прочим, исключительно хорошо: «Фрау битте, фрау данке». Почет и уважение. Немчуру можно понять, она же была — ну вылитая надзирательница из фильма Лины Вертмюллер, с которой решил закрутить роман Джанкарло Джаннини. Белобрыседеющая, тяжелая, с каменным непреклонным лицом, жутко злая. Наверное, и немцы ее побаивались.

Языки были в музыке. Адажио, виваче, лонго, скерцо. Мольто виваче. Языки были в романсах и в операх. Туо падре, туа мадре. Андьямо!

Но они, языки, не подхватывались, вот в чем загвоздка. Вон, в «Войне и мире» русские солдаты легко разучивают песенку про Анри Четвертого, правда, не воспроизводя носовое «н», но явно учатся со слуха, все им нипочем. А у нас после целого лета на хуторе в Латвии — ни одного латышского слова, хотя именно у старика Винцента на его старом и бедном, Бог знает когда последний раз отремонтированном хуторе (не позже 39-го), мы впервые увидели правильную европейскую кухню с огромным количеством

шкафчиков, крашенных в старый голубой, как теперь модно, — только это был очень, очень старый голубой). Соответственно, после лета под Винницей — ни одного слова украинского. Нет, вру. Одно. Это было слово «е». Правда, на вопрос «Е?» ответ в том пятьдесят каком-то году был предсказуемо «Нэма», что ты ни спроси. И, несмотря на это, вдруг выплыла картина. Гомон, хохот, летают комки глины. Это все село лепит молодоженам новый глиняный дом-мазанку. А вот вторая картина. Троица, это называется Троица. Маленькая только что светло покрашенная изнутри церковка полна ломаных березовых веток. Ах, как они пахнут! А бабы пахнут чистотой, мужиков же нет. А дальше мы с бабушкой в саду пьем чай с вареньем у попа. Поп молодой, худой, красный весь от жары и от чаю, и ему очень хорошо, потому что он разговаривает с бабушкой, и они друг друга замечательно понимают, а мы-то с братиком нет, и мы над попом хихикаем, что у него волосы в масле. Вот сейчас-то я знаю много всяких других слов и понимаю, что нам тогда показали за картины, а тогда, конечно, нет.

Зато если читать книжки, увидишь, что языки оттуда лезут сами. В «Оводе» разносчики кричат по-итальянски «Фрагола!» В «Отверженных» Гаврош винит во всем Вольтера и Руссо: «Се ла фот а Вольтер; се ла фот а Руссо».

Следующим шагом были «Три мушкетера», под их мощным напором было решено выучить французский самой. Но преподавать не умел никто и никак. Бабушка купила учебник, и все свелось к Пассе композе и Пассе сэмпль.

А когда посыпались бастионы моноглотства, приехал Ив Монтан с Симоной Синьоре, и все запели: «А Пари», и «Юн демуазель сюр юн балансур». То есть «une» — поди произнеси! Губы не складывались абсолютно. Но все равно, счастью не было конца. Однако ж сколько бы лет я ни таскалась по урокам, и все

равно ни слова, ни слова живого сама произнести не могла, а когда слышишь фразу, надо ее развернуть в голове, написанную со всеми апострофами, иначе не поймешь.

В школе языков не учили — вернее, учили немножко, с пятого класса, но строго так, чтоб не выучить. Учительница английского была известна как Жаба, но походила скорее на жука стоймя на тонких лапках. Этот свой членистый организм — головогрудь — она одевала в отличные розовые, голубые и лимонные костюмы, которые шила сама. Но при чем здесь английский? Разве что в выборе цветов она следовала Елизавете Второй? С английским же у нее был свой метод. Весь класс должен был купить какую-нибудь адаптированную лабуду, чтоб прочесть дома. Кто-то один собирал деньги, чтоб купить на всех. Деньги с большим скрипом собирались в сентябре-октябре. Тут начинались осенние каникулы. Деньги при этом обязательно терялись или ученик, собиравший их, заболел. Тем временем облюбованная книжка оказывалась распроданной, выбиралось новое наименование, но тут — бац! — заболела сама Жаба, недели так на две, аккуратно до Нового года. И вуаля! Получался нужный результат, то есть нулевой.

А уже появился журнал «Америка». Уже слушали джаз. Уже посмотрели выставку английских детских рисунков, где ливерпульский мальчик нарисовал грузовой порт и груды деревянных ящиков, которые так по-разному золотились сквозь знаменитый туман. Оно проникало. Оно было чем-то вроде радужного отблеска, которое кидает перед собой время перед тем, как наступить. Оно было предчувствием то ли английского языка — да, почему-то не французского и уж явно не немецкого, — то ли свободы, и оно точно уже разворачивалось широко и не наступить просто не могло.

ЛАСТОЧКИ ПРОПАЛИ

Церкви он любил пустые, а родственников дальних. В Израиле родственники были все близкие, да и вообще, в этой, как он выражался, Тьмумароккани, ничего хорошего ему не светило. В церкви же до чумы всегда — помните? — битком набивались туристы. Паша Альфов запомнился высоким, меланхолическим московским человеком с некоторой бухарской составляющей, изысканным и, как было модно в Союзе, больным редкой болезнью, которая только усугубляла эту его изысканность, — что-то такое было у него в рисунке движений. Он говаривал: «Простите мне мою вялотекущность!»

Дело осложняла редкая специальность, угро-финские языки, ни на хрена в Израиле не нужная, так что его для приличия немножко подержали в универе на стипендии, а потом тихо ее не продлили. И тут даже бухарская составляющая в лице близких родственников никак не могла помочь — вот занимайся он бизнесом, продавай, импортируй, экспортируй, возьми, наконец подряд — тогда да, а приличествующую ему работу никакие родственники, даже ашдодские, не нашли бы никак, а о другой в случае Паши и речи быть не могло. Ну, и уехал, конечно, в Европу там, потом в Штаты и не то чтобы устроился, а скорее не пропал. Типа на грани фола, и так каждый год. Но по специальности!

Потому что это мировая загадка и тайна, покрытая мраком неизвестности: почему мы, которых семьдесят лет топили в сортире, не утопли, а оказались

такими несгибаемыми, совершенно ни к какой реальности неприменимыми снобами? Даже, обращаясь мысленно к беспечальному (ой-ей-ей...) детству, к стартовой, можно сказать, точке, мы видим — что? Глянь налево — мать-мать-мать, глянь направо — так и перетак и растак, а в середине мы, школьницы наивного, еще и близко не выпускного класса, и пришел дружественный мальчик, и распевает ихнее, в соседней школе коллективное творчество:

Мы — бамонисты¹ ребята
 (Тири-тири-тири),
 Ходим на Волконскавааа.
 Уважаем Кафку, Джойса
 (Тири-тири-тири),
 Эх, да невеселый разговор...

Так что тут все такие. Так с тех пор и остались.

Альфов, немолодой юноша, жил один, никто не знал точно почему, но видно, что и тут работал тот же механизм отторжения: рассматриваемая женская особь должна была отвечать ряду критериев: астеническое сложение, долихоцефалия, детородный возраст, приятность черт, интеллигентность и культивированное русское произношение (например, отсутствие Г фрикативного), принятое в кругах выпускников МГУ — ЛГУ, а, ближе к современности, Вышки — РГГУ — Европейского ун-та. Да, и самое важное — способность распознавать любимые цитаты. Действительно, мы видали браки, стоящие на общности цитатного репертуара, и это были крепкие браки: далеко не ходить, бывает ведь, что один из супругов взглянет на календарь, «Осень, мол», — а другой тут же вторит «Ласточки пропали», или, из шедевров, которые мы слышали уже в Израиле:

¹ от слова «бамон» (рус., разг.) — то есть бомонд

Осень наступила,
 Высохли цветы.
 Мне никто не надо,
 Кроме ты!

Так вот: особи, снабженные всеми описанными признаками или даже лишь некоторыми из них, почему-то были давно разобраны по рукам, а те, что имелись в наличии, Паше Альфову негодились. Мы даже думаем, что и сложение могло бы быть не таким уж астеническим, и вместо долихоцефалии могла бы оказаться круглая мордашка, и приятность черт — понятие вполне себе растяжимое, но без цитат — ох! — дело вряд ли бы пошло. На самом деле он искал какую-то даму, которая по оплошности, или по провинциальности, или по своему или чужому упрямому и вздорному решению воспитанием принадлежала бы к его поколению, но была бы при этом лет на двадцать моложе, — то есть упорствовала бы в мандельштамизме и пастерначестве, невзирая на исторические ураганы, вихри и тайфуны. Так какой-нибудь ортодоксальный еврей упорствует в своем ношении по табельным дням белых шелковых чулок до колен, балетных портов до тех же колен, полосатого халата и соболиной шапки колесом диаметром в полметра. Но при этом он-то есть! А вот ее-то нету! Ни в чулках, ни без чулок. Ласточки пропали. С концами.

Мы, видя, что так дело не идет, предлагали либо разделить критерии поиска и искать отдельно — даму для брачной жизни и отдельно — даму для распознавания цитат, либо сосредоточиться на идее *tabula rasa*, — то есть жениться на совсем юной и всему ее научить.

Тут нужна вставная новелла про гениального тоже московского человека Сашу Омегова, который так и сделал. Ему, разведенному гению и вундеркинду,

было сорок, а ей восемнадцать, и он сразу устроился в израильский универ, где подарили ему компьютер, и Омегов стремительно научился им пользоваться, а жена выучила язык и кончила местный пед. И все обещало счастье без конца, но тут начало казаться, что слишком уж долго тянется процедура Сашиного утверждения на штатную должность, и он стал нервничать и делать ложные шаги, а из-за них все затянулось, и к концу четвертого года процедуры наш молодой супруг вдруг в середине разговора начал срываться на визг и переходить на личности... В общем, ничего не добившись, они свалили, и в Штатах первая работа была замечательная, но он повздорил с начальством, вторая тоже хорошая, но начались нелады с женой, ибо она сидела с детьми, а он приносил деньги, и ставил ей это в укор, мол, кто ты и кто я, и кто ты без меня — но тут она поймала его на слове и ушла с детьми, и очень скоро нашла работу и купила дом, а Омегов перешел на работу похуже, и еще похуже, и через пару лет умер от инфаркта.

Нет, с созданием семьи большие все-таки проблемы. Вот один знакомый местный паренек в положенный срок влюбился, она была американская еврейка и училась в Израиле. Все прекрасно, они едут в Америку, он знакомится с ее родителями, и они возвращаются и живут себе год, и два, и три. И все замечательно, но она почему-то хочет замуж и в какой-то момент у нее начинаются слезы, отчего же он не женится? И оказывается, что он не женится по самому по тому, что она, видите ли, достает его своими слезами. И проходит пять лет, и он бросает ее по причине того, что она, видите ли, форменная истеричка. То есть за пять лет своей жизни она, будучи фактически за ним замужем, но без признания этого статуса, на каком-то этапе схлопотала-таки себе нервное расстройство и по причине этого самого расстройства была выставлена за дверь.

И наоборот — другой местный юноша, сын знакомых, влюбился в девицу и через две недели сделал предложение и через месяц женился, а еще через месяц увидел — «Не то!», как Лев Толстой, и в ужасе бежал.

А третий местный юноша из знакомой семьи решил поволочиться за хорошенькой девицей из семьи мягко религиозной. И как-то в процессе ухаживания он примерил на себя ее заповеди, и они ему понравились. В какой-то момент она его бросила, но он, кажется, этого и не заметил и так со своей религией и остался.

Тут главное не пропустить свой срок. Вот ты студент и вечером подрабатываешь официантом в кафе или барменом, и это нормально. Но если ты, орясина, уже не студент и ничего другого не можешь придумать, кроме барменства, то на тебя посмотрят долго и внимательно — что же в тебе не так?

Дело в том, что в Израиле хороших девочек разбирают сразу, она еще маленькая, а на нее уже глаз положили. Ну, там, конечно, армия, универ и все развлечения, а когда осядет пена, тут-то и выясняется, что, пожалуйста, предложение в силе. Как восклицала одна знакомая секретарша, к ужасу своему дождавшаяся возвращения своего парня из армии: «Ну да, не Бог вещь что, но ничего другого нет, так что — не выходить?» Итак, востребованные — их большинство — выходят сразу после армии, а остальные — уже под или даже за тридцать — только если повезет, кроме тех, кто вообще решил, что семья не для них или что они совсем по другой части. И, ежели ты пожилой юноша, то тебе приходится иметь дело с весьма разнообразным контингентом, выдавшим виды. Как там Чехов говорил: «поломанные куклы»? Среди них лучшие — это больные настоящей, а не психической болезнью. Хотя тоже не скажите — тут один приятель нашел, казалось бы, тихую девушку, которая по при-

чине болезни не пошла учиться, а скромно себе работала где-то на копеечной должности — и бац! Влюбился, устроил на хорошую работу, и буквально тут же она его бросила. На пороге отдела кадров.

Но, конечно, нельзя со счетов списывать и откровенной глупости. Как-то в последнее время она, кажется, все более овладевает массами и, похоже, уже начинает оборачиваться материальной силой: может встрять и отбить всякую матримониальную охоту. Например, один знакомый мальчик влюбился в немочку. И вот уже она ему пишет письма в рамках из розочек. Созрела для брака. А что же он? А он углубился в генеалогию. Папа у нас оказался замдиректора банка, мама заведует приютом для брошенных домашних животных! Мяу! Бау-вау! Чего еще хотеть! Но глупость имеет свои законы, и, посчитав годы, он обратился к своей Гретхен с вопросом о дедушках. Действительно, дедушки, не дай Бог, могли оказаться того...Он не удовлетворился дедушкой по папе, который, таки да, служил в Вермахте, правда, в первом же бою ему оторвало обе ноги, что поставило крест на его возможных военных преступлениях, но зато открыло перед ним карьеру бухгалтера, с таким блеском продолженную папой. Нет, он стал подъезжать насчет дедушки по матери, но почему-то был отшит и история, обещавшая столь многое, кончилась ничем.

Но жизнь идет, слава Богу, а в жизни первое дело — не заикливаться. Особенно если ты московский изысканный человек с никому не снившимся образованием и редкой специальностью. Тут ничего не стоит в них и закоренеть. А закоренеешь — пиши пропало. Вот и Паша Альфов наш огляделся вокруг — на действительность: как там она? — и видит: Петька Омикронов живет не тужит, девок портит табунами, всем говорит: «Я — плюралист».

И расстаются друзьями, и все девки довольны, и все они Петькины френды на фейсбуке.

И понял Паша, на Петьку глядя, что серьезные свои намерения не объявлять надо, а всячески скрывать, потому — время такое. Молчи, скрывайся и таи! Таи тот безрадостный факт, что ты незатейливый стрейт и моногамен как гусь. И уж совсем позорное свое стремление, ни в какие ворота не лезущее, наплодить ребят, причем, что омерзительнее всего, своих! Альфят! А не как полагалось бы у приличных людей, усыновить ребеночка-аутиста, желательно одного из модных в этом сезоне цветов.

И поскольку не было уже мочи, пересмотрел Альфов свои критерии, черт с ними. И вышел в большой мир, беспрецедентно на все готовый, о серьезных намерениях строгий молчок.

И — вы не поверите, — таки нашел себе аспиранточку-итальяночку, тощенькую, носатенькую, боевую русисточку, и все у них хорошо, и нужные цитаты она уже выучила или скоро выучит. Главное, что ей это нужно не просто так, а и по службе продвинуться помогает. Например, когда он ей говорит: «Мне хочется домой, в огромность» — она уже не смотрит на него как на сумасшедшего, потому что какая же огромность в их двух комнатках в Новом Йорке, а рапортует: «Квартирры, наводящей гррусть!»

А там уж как пойдет.

С ВЕСЕЛЫМ ДРУГОМ ВАР-РАВАНОМ

ЕРУСАЛИМ ЛАЗАРЕВИЧ

Когда-то на горе под Ерусалимом был временный поселок для новоприбывших из других стран: туда селили только образованных, их учили древнееврейскому языку. Необразованные должны были как-то справляться сами. Наш домик был на склоне горы, сплошь в зарослях коровяка и в желтых зонтиках аниса.

Приехал какой-то забытый на сорок лет дядя: профсоюзная рубашка-апаш, малиновая лысина, сын в Штатах и навек опечаленная жена. Дядя был из браваурных, в ключе «Нет, ты меня слушай». Платье, купленное за девяносто лир, чуть не довело гостей до апоплексического удара: на распродаже можно купить за двадцать пять — визжали родственники. Пахло крупной ссорой еще на сорок лет. Мешок старого тряпья, привезенный ими в подарок, мы отдали бедуинке, пасущей коз в анисе и коровяке.

Каждый день ездили в город. Автобус стоил тридцать груш — но не тех, что как раз тогда, в семидесятые, начали выращивать на Голанах, а местных копеек, названных так по старой памяти об австро-венгерском гроше.

Первый месяц в Ерусалиме был почему-то весь выдержан в австро-венгерской тональности. Лазарь — ах, Лазарь! — водил нас в венгерское кафе «Ально». Он сокрушался о падении империи Габсбургов: оттого вся порча, балканские распри, сараевская заварушка и дальнейшее разорение. А Османская империя? Она кому мешала? И что мы имеем? Сто арабских злых и бедных королевств. И наш ста-

линистский рай. Сталинистов Лазарь ненавидел — но это израильских. Сталина же в сталинской России по детской привычке уважал: как же, ведь он империю как раз восстановил и создал стиль. Как какой стиль? А серебряные подстаканники в поездах? Лазарь был наш друг по переписке. И вот он показывает нам Ерусалим. Ерусалим Лазаревич.

Все это было до войны Судного дня. (Что, думали, удрали? Врешь, не уйдешь!) Во время речи Голды Меир — мы слушали ее по телевизору в клубе поселка — вырубилось электричество и страшно повисла фраза «Зу тихье га-милъхама». Обрыв. В смысле та еще война, всем войнам война. Администрация ушла на войну. Остались только учительницы; наша рыженькая Мири рассказывала, как провозглашали государство в 1948 году: «Маленькое государство, но наше», — и показывала руками, насколько маленькое. Можно было ошибиться и подумать, что она греет ладони вокруг маленького огонька.

А новоприбывшие теперь самоуправлялись. Самоуправляться вызвали одних мужчин, но мы так не привыкли и взбунтовались. Мы — это группа американцев-реформистов, несколько русских профессоров и фракция крайне левых социалистов, только что из-под знойного неба Аргентины. Американцы служили литургии в поле на заходе солнца и нам нравились. От леваков же аргентинцев мы были в ужасе, причем с полной взаимностью. По вечерам в клубе хаживали стенка на стенку: «А нас в Аргентине сажали, угнетали». — «А нас в России с работы увольняли, в психушку заключали». Аргентинцы в меньшевистском Израиле влились в среднеуправленческое звено и предсмертно оживили кибуцы. Американцы же, как и русские, были либералами на консервативном откате, потому и в академические круги не были приняты, и в чиновники их не пустили. Дети их вернулись в Америку.

Через три недели война кончилась, и мы переехали в город. Всех новорожденных в этот год называли Ариэлями и Ариэлами, в честь Шарона. Но Израиль больше не был беззаботной страной.

То, что с нами случилось, осваивалось в тогдашних снах: какие-то почти невозможные полеты под сводами, такое снится только в детстве; или спуск под землю, в пещеры, где круглоголовые глазастые люди ходят меж добрых грязных белых овец под какими-то оплывшими мраморами и пьют из черных журчащих ключей. Сон выбирал приемлемое — архаика, воды жизни, античные мотивы, библейский колорит, а все неприятное и неловкое заметал под ковер.

Уля

Утром, хоть и шестой этаж, на окно прилетал голубь — урчать, как завод, вырабатывающий счастье. Под домом кусты терновника в ягодах и сизые заросли лаванды. Из-за горы по субботам разливался колокольный звон из монастыря Святого Креста.

Теперь гулять. Дорожка между колючими дубками и кустами в малиновых червивых стручках; тут и рожковое дерево. Под ним в листьях берутся скворцы. Выходит скворец с оранжевым носом и говорит человеческим голосом: «Любить — люблю». Идем мы с Улинькой медленно, глаза долу: вон из-под листьев лезет розовая иголка. Крокус. Дальше какие-то мусорные дебри елкообразных кипарисов. Под ними в черном воздухе зимой расцветает бело-розовый громоздкий и развесистый куст: розочки сами по себе слабенькие, увядающие на глазах, веточки паучьи, никнущие, а куст цветет да цветет, не складываясь из своих частей и сильнее самого себя.

Из дружественной нам с Улинькой братии не забыть удода в полосатом венце. Да, еще вылетала с дурным криком сойка и роняла из голубых

шашечек на крыльях голубое в черную полосочку перо Улиньке на радость. Можно было полазить по камням на склоне горы, дырявым как швейцарский сыр, а в дырках покопавшись, напасть на целый клад белых сухих улиток. Принесем домой и положим в воду, то-то радости, если оживут. С терновника красные горькие ягодки Улинька обирала, с перечного деревца рвала розовые грозди душистого перчика. Твердые орешки пинии Улинька разбивала камнем.

Ботанического сада еще не было. Но уже были опытные деланки дымно-бурых ирисов со склонов Гилеада. Наверху высеяли целое поле маков, красное, яркое, черноглазое, легко дрожащее, и зелени не видно. И вдруг Улинька зарыдала, а объяснить ничего не могла.

Улинька в пять месяцев сказала мэ-мъ, а потом сказала куть-куть-ка. А ведь «с» в некоторых случаях эквивалентно «к», сообразила я и переспросила: «Сосочка?» Как обрадовалась Улинька, что ее поняли!

В полтора года Улинька стала рисовать маленькие кружочки, такие вроде маленькие сущности. Вдруг в одной из них внутрь врисовала два кружка поменьше и сказала «мама». А от другой опустила вниз много дрожащих линий и сказала «мимика с ножками». Мимика была овечка, а сисика — лисичка.

В три года Уля рисовала птиц, и она сама была птица. Тогда родился Улин брат: нарисуй его. И Уля нарисовала сосочку-кутьку.

В парке Уля увидела далматинца: «Мама, собака — божья коровка!» Все это было до детского сада.

Дом стоял боком на горе, зимой гора оживала. Вырастали красные анемоны — Уля говорила «анюмоны». Потом дикий мелкий ирис, голубой, лиловая мандрагора, которую невозможно выкопать, — она уходит вниз, и черная тубероза, похожая на кулёк, на которую натыкаешься с испугом. На горе собирали куколок и ждали, пока из них не выведутся мохнатые

ночные бабочки, неожиданно большие. В траве тихо жестикулировали богомолы — объяснялись знаками. Дети ловили бедняг хамелеонов, которые не умеют бегать на своих ручках с длинными зелеными пальцами. Рыцарские репейники, симметричные пучки мяты и шалфея, желтый дрок, завитый повиликой, — все звенело и дышало на солнце и было похоже на ковер, сотканный в честь разнообразия и сложности самим Уильямом Моррисом.

СУЩИЙ В НЕЙ ЯЗЫК

Звуки новой речи ласковые. Дочку я свою зову Любавич. Иногда возникают странные связи: к своему профессору я хожу в шикарный комплекс Кирьят Вольфсон и почему-то твержу в уме молитвенное «Кирие Элейсон». Слов не хватает: раз в поисках цветочных горшков я, забыв то единственное существительное, что могло бы пригодиться, пыталась воздействовать на продавца с помощью подручного английского — и дивилась счастливой улыбке, расплывающейся все шире у него по роже, пока я цокала:

— I need pots. Flower pots. Pots. How do you say pots?

Все это были цветочки. Скоро началась настоящая тоска. Кругом назойливая, всепроникающая ложь: «Надо говорить на иврите». По сути это значит: заткнись и молчи, потому что иврит учить надо десять лет.

«Как? Ты говоришь с детьми по-русски? Надо говорить на иврите!» — назидательно твердят соседи. Однако Шейла из Канады говорит с детьми по-английски, Эрвинке с пятого этажа — по-венгерски, Замиры — по-румынски. Даже нянька Фортуна (шестидесяти лет, с подрисованными глазами, сама она называет себя Фуртун), когда-то, в лучшей жизни, в Марокко, ходившая во французскую школу, баюка-

ет моего сына песенкой «Sur le pont d'Avignon» и показывает наманикюренными пальцами, как именно надо сажать капусту:

On le plante, on le plante.
V'là comme ça! V'là comme ça!

Домой Фортуна звонит по-арабски, а мне, подняв палец с ярко красным ногтем, приказывает безапелляционно: «Дабри иврит!». Но я выхожу на детскую площадку и читаю Уле вслух «Федорино горе». «Что это?» — спрашивает сосед, американский профессор. — «Какая изысканная метрика, какая чудесная звуковая организация!» Все равно, улица открыто враждебна, дети начинают стесняться русского языка, и дальше Карл Иваныча да Желтухина дело не идет. Зато английский подхватывается годика в четыре на лету и закрепляется мультиками. А я, где могу, говорю с израильянами по-английски, потому что мой английский лучше ихнего, — а заговори только на иврите, получишь в ответ взгляд, исполненный снисхожденья.

Мы вначале идейно старались дружить с израильянами, хотя легче чувствовали себя с американцами. И, однако, через несколько лет американцы стеклись к американцам, с израильянами им тоже никакой каши было не сварить. Мы сдружились с израильянами весьма условными. Вот ученая тетка из Югославии, на всех языках говорящая одинаково плохо. Уезжала после войны девчонкой, чудом спаслась, какая уж там школа, ни сербского, ни идиша культурного, а в Израиле в школу уже не пошла, попала прямо в армию и в университет. Их много в Израиле, людей без родного языка. Иначе у наших друзей: он швед, она финка. Там нет обрыва, там слой на слое. Мы говорим с ними о селедке, сигах и снетках, о сортах черного хлеба, о том, чем отличается голубика от

черники, брусника от клюквы, костяника от морошки. Вот с кем интересно говорить о литературных тонкостях. С американцами труднее, сферы знания не пересекаются. Вот мы и дружим с парижскими еврейскими румынами и русскими еврейскими венграми, еврейскими шведофиннами и немцофранцузами, и говорим с ними о литературе. Но где-то через десять лет выяснится, что мазохистские самоограничения ни к чему не ведут, и что в Израиле полно интеллигентных русских, и что говорить по-русски — это упоительная роскошь и достаточно для счастья.

Пэнг ду компэнг

Кумганы и финджаны — это не малые народы, как вы подумали, они латунные и медные и черные с резьбой, с острыми носиками, с гнутыми ручками. Икат же не имеет отношения с судорожным сокращением пищевода. Это шелк, тканый расплывчатыми ромбами; есть еще дамасский шелк в драгоценную пеструю полосочку и китайский с горками и цветущими веточками вишни. Сидят у лавок полноватые мужчины со специальными взглядами, и сложно уклончивые греки, и худые в очках ерусалимские армяне, прекрасно говорящие по-русски. Сидеть у лавки — это общественное положение, а деньги все на биржах. Товар уже давно почти весь с дальнего Востока, местного только какие-то лжеэмалевые пепельницы, да армянская керамика, да самодувное купоросное стекло. Но запахи! Овчины и кожи, корица и лакрица, кофе с кардамоном! На этом романтическо-сыромятном фоне новый Ерусалим (а это начало семидесятых) был насквозь промазучен, закопчен и продымлен солдатскими сигаретами «Тайм». Социалистическая индустрия еще процветала и царила солдатская простота ассортимента. Мы страдали тогда от нехватки черного хлеба, но наехали амери-

канцы, и местный быт стал разнообразнее и веселее. Американцы могли быть идейными сионистами и религиозниками, но из любых позиций неистребимо тяготели к либерализму, а главное, тосковали по гастрономической части.

Однажды на задворках улицы Бен-Иегуда я увидела новую крошечную пекарню, а в ней настоящие караваи, темные, с поджаристой коркой. На вопрос, что это, американка (золотые очки, голубые кудряшки и сорок блестящих зубов) ответила мне назально:

— Пэнг ду компэнг.

Почти сразу откинув вьетнамскую гипотезу, я попробовала английскую отмычку, тоже без толку. Но пока я с ней возилась, сердце не камень — меня напал сразил острейший, свой собственный пэнг, то есть английский укол, или угрызение, или схватка, то ли совести, то ли раскаяния, то ли родовая. А компэнг, вроде как дондеже у Чехова, ввиду своей полной неопределенности оказался всеобъемлющим, и, раздавшись, вместил и одиночество, и немоту, и отторгнутость, и память о совершенно не идиллической оставленной жизни — и замкнулся опять на внутреннюю рифму — так сказать, пэнг пэнговый, в квадрате и в кубе, неизбывный и безысходный, двойной и сугубый, сплошной и беспросветный, принудительно-компульсивный. Кругом он, пэнг-ду-компэнг, куда ни подайся, хоть мозг давно уже раскусил этот орешек, продавщица, конечно, пыталась своим американским языком изобразить французский пэн де кампань, хлеб деревенский, с ошибкой в роде — такой хлеб и сто разных других еще лучше давно продаются повсюду, приехал русский миллион, в Россию едь хоть завтра. Но пэнг-ду-компэнг так и не прошел и наверное уже не пройдет.



ЕЛЕНА ТОЛСТАЯ — литературовед, прозаик, автор нескольких монографий, профессор. Живет в Иерусалиме.

Родилась в Ленинграде. Окончила Московский государственный институт иностранных языков. Преподавала английский язык в МГУ. В 1973 г. переехала в Израиль.

Училась в Еврейском университете в Иерусалиме. Преподавала русскую литературу в Университете Тель-Авива. В 1982 защитила

в Еврейском университете диссертацию «Идеологические контексты Платонова». С 1985 г. преподавала русскую литературу на кафедре славистики в Еврейском Университете.

Профессор Толстая — автор цикла статей о прозе Андрея Платонова, книги о творчестве А. П. Чехова, трех монографий о творчестве своего деда — писателя А. Н. Толстого, фундаментального исследования о знаменитом литературном критике Акиме Волынском (английский перевод вышел в свет в издательстве Brill).

В книге «Игра в классики» (2017) собраны плоды ее преподавательской работы. Последнее свое исследование «Безгрешное сладострастие речи» (2022) она посвятила творчеству открытого ею замечательного прозаика конца 1920 гг. Надежды Бромлей.

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышли два прозаических сборника Елены Толстой — «Западно-восточный диван-кровать» (2003) и «Сбор клюквы сикхами в Канаде» (2022).



ISBN 978-1-960533-28-9



90000 >

9 781960 533289